

О. Н. Мухин

«Я, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ»: К ПРОБЛЕМЕ САМОЗВАНЧЕСТВА В РОССИИ В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА

Рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты проблемы самозванчества в России на материале XVII – первой четверти XVIII в. В числе источников используются не опубликованные ранее архивные материалы.

Ключевые слова: *самозванчество, царская власть, харизма, кризис.*

Самозванчество – один из ярчайших феноменов политической и социокультурной жизни в русской истории нового времени. С ним связана интересная проблема, на которую неоднократно обращали внимание исследователи, а именно проблема отсутствия самозванных Петров I (в отличие от лжецаревичей Алексеев, которых было несколько). И это при наличии явно провоцирующих обстоятельств: широкое хождение в первой четверти XVIII в. имела легенда (в нескольких вариантах) о подменности Петра, согласно которой на российском престоле находился подложный государь.

Различные авторы делали попытку объяснить этот пробел в истории самозванчества. Так, К. В. Чистов, автор одного из самых обстоятельных исследований этого явления, считал, что «историческая деятельность Петра не предоставляла создателям легенд необходимой свободы идеализации, и его фольклорный образ не мог стать вместилищем народных социально-утопических идей». Исследователь подчеркивает, что даже при существовавшей в народном творчестве традиции идеализации Петра как воина-победителя и гонителя бояр он никогда не изображался крестьянским царем, с ним не связывались надежды избавления от «крепости» [1, с. 113–114].

Б. А. Успенский полагает, что лжепетров не было, так как считалось, что настоящего Петра убили при «подмене» [2, с. 166], при том, что реальный Пётр, чье поведение было антиповедением, воспринимался как самозванец, подмененный за морем или в детстве. Эта версия не кажется убедительной: не все варианты легенды о подмене Петра говорят о его гибели, часто они просто не определяют его конечной судьбы¹. Более того, и царевич Дмитрий считался погибшим, что не мешало появлению многочисленных самозванцев времен Смуты (Лжедмитрий II объявился через некоторое время после убийства первого, совершенного на глазах большого количества народа). Появ-

ление самозванцев чаще всего было связано именно со «счастливым избавлением» от гибели.

На самом деле эта проблема во многом связана с вопросом о понятийных дефинициях, возникшим в советской историографии, где самозванчество (в пику нейтральному понятию «самозванство») обычно связывалось с политическими авантюрами и социальными антифеодальными движениями (или, по определению К. В. Чистова, с народными социально-утопическими легендами [1]).

Автор одной из новейших работ, в которой большое внимание уделено самозванчеству, П. В. Лукин, давая критический разбор взглядов на этот феномен, вообще не склонен проводить различий между самозванством и самозванчеством, настаивая на том, что все проявления, так или иначе связанные с принятием простыми людьми титула или имени царя, являются комплексными [4, с. 109]. По свидетельству исследователя, от XVII в. сохранились десятки дел о «непригожих словах», фигуранты которых в бытовой обстановке объявляли себя царями. П. В. Лукин считает возможным отнести их все к так называемому народному самозванчеству (т. е., видимо, как следует из контекста, не связанному с политическими претензиями и социальными движениями).

Вот лишь несколько выразительных примеров. В 1648 г. в Туле отставной московский кормовой иноземец Ивашко Ченовитцкой просил пить вина у донского казака Алёшки Алексеева в кабаке и говорил: «Дай пить вина, я де государь, царь» [4, с. 122]. В 1661 г. каменновец сын боярский Иван Должиков доносил на лебединского жильца черкашенина Ивашку Фёдорова, сына Калтуна, в том, что он «пел песни пьяный и назывался государем: “я де сам государь”» [4, с. 122–123]. В 1683 г. крестьянин из окрестностей Усть-Сысоля Лёвка Суханов называл при многих посторонних людях себя царем, а детей своих, Баженку и Мишку, царевичами [4, с. 123].

¹ Согласно самой подробной версии этой легенды, Пётр оказался пленен некоей шведской королевной, которая через некоторое время по случаю своих именин выпустила Петра на волю, но, когда он вернулся, бояре решили его посадить в бочку, утыканную гвоздями и бросить в море. Некий стрелец спас государя, предупредив его и заняв его место в бочке [3, с. 77]. Что случилось с самим Петром далее – не уточняется.

Дела Преображенского приказа дают возможность проследить проявления «народного», в определении П. В. Лукина, или, может быть, вернее говорить, «бытового» самозванчества (так как все проявления самозванчества народные по характеру, даже те самозванцы, что претендовали на достижение реального царского достоинства, были выходцы их простых подданных) и в Петровскую эпоху. Для презентации архивного материала воспользуемся классификацией ситуаций возникновения «народного самозванчества», приведенной в работе названного автора.

1. Одной из распространенных причин самозванных высказываний являлось стремление говорившего в ходе беседы выделить себя из общей массы, подчеркнуть свое особое положение, статус, принципиальное отличие от остальных [4, с. 139], так как, по мысли П. В. Лукина, для русского человека того времени царь являлся олицетворением максимально возможного на земле могущества, высшей сакральной инстанцией, уступавшей лишь Богу на небесах [4, с. 140–141].

В 1720 г. в Переславле-Рязанском приговоренный к смертной казни крестьянин вотчины Рязанского и Муромского митрополита с. Срезнева Дементий Степанов доносил на тюремного целовальника крестьянина с. Клепикова Рязанского уезда Ивана Маркова. Степанов сидел в тюрьме по обвинению в четырех татьбах, за что был приговорен к смертной казни, и сказал за собой государево слово. В Преображенском на допросе он показал, что недели три назад целовальник вотчины кн. Сергия Долгорукова Переславского уезда рязанского села Клепикова крестьянин Иван Марков стоял на карауле у тюрьмы и от тюремных дверей отошел, оставив дверь открытой. Дементий спросил, «для чего он от двери отходит», на что тот спросил: «...знаешь де ты меня кто таков я?» [5, л. 1]. Степанов сказал, что крестьянин. На то Марков ответил: «Я царского колена» [5, л. 1]. Это, по словам извечника, слышали три человека.

В расспросе Марков сказал, что от дверей он не отходил, а тот извечник в разговоре «россмеяв-ся ему молвил: ты де целовальничшко невеликородной человек». И Марков на то сказал: «...не знаешь ты меня, что я царского колена». И те слова говорил он «в пьянстве» и «спростоты собою» [5, л. 1–2]. В данном случае обиженный презрительным обращением собеседника целовальник приписывает себе родство с царем, дабы выразить своего рода самоуважение, гордость «маленького человека».

2. В других случаях самоименование царем могло сопровождать заявления о своих правах, полномочиях или достоинствах, которые каким-то образом затрагивали сферу монаршей компетен-

ции (в те времена считавшейся практически безграничной) [4, с. 145–146].

В 1720 г. разбойник Василий Курка, будучи расспрашиван в разных разбоях, сказал, что два года назад, в бытность его на ярмарке в черкасском городе Сурже Старом, он жил в доме казака Мамицы [6, л. 1]. Туда явился сотник Сумского полка Трофим Яковлев и еще какой-то офицер. Они стали друг с другом браниться в час ночи, посидев в светлице, а отчего – не знает. Офицер выбежал на двор и кричал: «Бунтавать де вы зачинаете, и еще де в вас мазеповщина не вывелась» [6, л. 2]. За ним выбежал челядин Мамицы. Степан кричал ему вслед, став у ворот: «Растакия де матери маскили, будет де на вас Некрасов (видимо, атаман Некрасов, один из сподвижников К. Булавина. – О. М.) и будем мы волочить вас за ноги» [6, л. 2]. Затем на крыльцо вышел сотник и стал кричать своим казакам, бывшим на дворе, «для чего они того афицера не поимали и не изрубили и казаки де сказали государевых людей рубить им ненадлежит» [6, л. 2]. На это Яковлев заявил: «Рубите де всех драгун которые на вас кинутца я де сам здесь государь пропали де мы от москалей» [6, л. 2]. До поимки своей Курка не донес о тех словах «простою и опасаясь от тех казаков убивства» [6, л. 3]. То есть в данном случае, называя себя государем, казачий сотник хотел подтвердить свое право на суд и расправу, традиционно являвшееся одной из основных привилегий царя.

В рамках данного варианта П. В. Лукин приводит несколько дел, фигурантами которых были государственные служащие, в том числе воеводы. Есть подобные примеры и в петровское время. В 1702 г. жители Нерчинска казак Гордей Попов и казачий атаман Спиридон Тархов подали извет на тамошнего воеводу Ивана Николева. По словам извечников, когда Гордей приходил на двор Николева просить очной ставки с неким Агапитом Плотником (видимо, чиновником) за то, что тот волочит «многое время», и говорил: «Люди де государю служат и за службу получают государеву милость», то Николев в ответ заявил: «Хотя де ты пять лет волочись, хто де мне укажет я де сам царь тако де же как на Москве царь Петр Алексеевич, не токмо де в Нерченску, я бы де и на Москве был царь. Я де которые дела делаю здесь в приказе и на Москве де мои дела невпример и дел де моих переделывать никто не будет» [7, л. 33]. Причем данный случай позволяет усомниться в выводах П. В. Лукина о преклонении перед сакральностью царской власти как центральном мотиве такого «самовозвеличивания». Как сообщалось в том же извете, Николев «метал и ставил в ноги государеву персону (портрет. – О. М.), и говорил он же Иван это де диковина что прислана с Москвы царская персона» [7, л. 33].

Скорее, речь идет о воеводском произволе, сопровождавшемся и в XVII, и в XVIII в. мздоимством и самодурством, а также представлением о своей безнаказанности, особенно в столь дальних владениях, как Сибирь, для жителей которой воевода действительно являлся фактически государем.

Гордей ссылаясь на свидетелей – воеводских людей Якова Соболева и Алексея Непекина. Николев на допросе и очной ставке с Гордеем заперся в том, что метал персону под ноги и говорил такие слова [7, л. 33]. Попов после этого стал говорить, что сам таких слов не слышал, а сказывали ему о них воеводские люди Яков Соболев и Алексей Непекин. Однако названные свидетели также все отрицали [7, л. 34]. К сожалению, чем кончилось дело, из отрывка не видно. Но и в случае ложного извета показательно для характеристики умонастроений эпохи само изречение таких слов, даже если их не произносил обвиненный Офросимов¹.

Еще одним типом ситуаций в рамках второго варианта П. В. Лукин считает отсылку к царскому авторитету для оправдания своего, в том числе незаконного, поведения (так как полная свобода действий также была одной из отличительных черт царя).

В 1702 г. крестьянин Фролка Ильин, сидевший в тюрьме в Переславле-Залесском, доносил на губного целовальника Лукашку Андреева в «непристойных словах». Дело было так: прошлой осенью губные целовальники Лукашка Андреев и Сенка Григорьев взяли из земляной тюрьмы в караульную избу крестьянина Куприяшку Иванова, сидевшего за кражу лошади, и долго его пытали, неведомо по чьему велению и за что. Через неделю Куприяшка умер. Когда еще через месяц Фролка с означенным Лукашкой ходил за караулом на площадь просить квасу, то стал укорять целовальника: «Как вы Бога и государя не боитесь, запытали де вы ночью колодника досмерти. А твои де братья меня же было забили» [8, с. 1–2]. На это Лукашка ответил: «Я государя не боюсь, я над вами (колодниками) сам государь» [8, с. 2]. Правда, никто посторонний тех слов не слышал, так что в отсутствие свидетелей Ф. Ю. Ромодановский приговорил Фрола направить для розыску в том непристойном слове в Переславль и послать о том воеводе грамоту. И в этом деле концовка не сохранилась [8, с. 2].

3. К третьему варианту П. В. Лукин относит непонятные с точки зрения современного рационалистического мировоззрения мотивы самозванчества [4, с. 156]. Ссылаясь на Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, он объясняет такие ситуации чертами мифологического сознания, характерного для традиционного общества [4, с. 158].

В 1698 г. рыльский помещик Кондратий Кошелев подал извет на Осипа Михайлова Офросимова, который якобы, выслушав царский указ, говорил крестьянам: «Я де Осип и сам таков же государь» [9, л. 3]. На очной ставке Кошелев настаивал на своем доносе, а Осипов возражал, ссылаясь на то, что у них с изветчиком была ссора из-за лошадей, потому тот на него и поклепал, а может, и по чьему научению [9, л. 7]. К сожалению, окончания дела нет.

В 1702 г. крестьянин Суздальского уезда деревни Куноховы вотчины Ивана Кайсарова Василий Савельев доносил, что на сытной неделе, а в какое число не упомнит, крестьянин той же деревни Микифор Андреев говорил крестьянам: «Чтоб были готовы под Ругодев (старорусское название Нарвы. – О. М.) – я – Петр Алексеевич» [10, л. 2]. Другой крестьянин, Иван Филипов, услышав такие слова, стал бить Микифора в голову и говорить ему «хлебай де ты уху а не рыбу», после чего все разошлись [10, л. 2]. Иван Филипов на следствии все подтвердил, и Микифор также, причем утверждал, что те слова говорил «спяна а никто ево на то не научал» [10, л. 3], за что был приговорен к наказанию кнутом, урезанию языка и ссылке с женою и детьми в дальние сибирские города [10, л. 5].

П. В. Лукин отмечает наличие самозванных речей и в среде духовенства, объясняя их в том числе и возросшим могуществом церкви, так как первые подобные дела появляются вскоре после никоновской реформы [4, с. 162]. Однако подобные эпизоды встречаются и в последние годы царствования Петра, когда от церковного могущества и самостоятельности не осталось и следа. Так, в 1720 г. казначей Донского монастыря старец Варлаам доносил на конархиста черкешенина Ивана Губского в том, что когда однажды в июне после трапезы позвал он к себе в келью «старцев ризничего с попами и с дьяконы, а с ними ж пришел конархистр белец черкашенин Иван Губский, и пили пиво» [11, л. 1]. И когда казначей предложил за здравие царского величества пропеть многолетие, конархистр заявил – «я де сам завтра царь буду» [11, л. 1].

В расспросе конархист сказал, что «от безмерного пьянства» не помнит своих слов, но если свидетели говорят, то, может, и говорил их, «и в той ево вине волен великий государь» [11, л. 4]. Вряд ли стоит выделять такие дела из общего контекста «бытового самозванчества», инициаторами которого выступали представители большинства социальных слоев тогдашнего общества.

Помимо перечисленных, как показывает материал, собранный в исследовании П. В. Лукина, типичных для того времени ситуаций, Петровская

¹ Так же считает и П. В. Лукин, который приводит в своей монографии несколько подобных случаев, когда показания изветчика не подтверждались.

эпоха принесла и новые поводы для самозванчества, связанные с кардинальной ломкой семиотического кода или социокультурного дискурса.

В 1697 г. произошел примечательный казус, который П. В. Лукин детально разбирает в своей работе. По его мнению, эта история снимает проблему отсутствия лжепетров. Некий Тимошка Кобылкин, московский торговый человек, тяглец Устюжской полусотни, по дороге из Пскова в Москву выдавал себя за «первого капитана Преображенского полка Петра Алексеева», якобы ограбленного в дороге, таким образом вытребовав от местных помещиков денег и лошадей [4, с. 130]. Эту историю вскользь упоминали С. М. Соловьёв и К. В. Чистов, причем последний считал, что это «заурядная спекуляция на затянувшемся “потешном маскараде” в условиях возраставшего нажима Петра на податное сословие» [1, с. 113].

Но П. В. Лукин убедительно показывает наличие черт самозванчества в этом казусе. Кобылкин копировал многие черты реального царя: помимо именованья себя по чину, действительно принадлежащему Петру, он также утверждал, что в дороге крестил «малого немченка», которого вез для «учения царевича Алексея Петровича, потому что он умен по-немецки и по-латыни и по-русски» [4, с. 130]. Кроме того, он написал несколько писем, адресованных должностным лицам, в частности псковскому воеводе Салтыкову, где, укоряя его резкими словами («пес меделян на цепи») и угрожая («посулено тебе топор да плаха»), велит срочно разобратся с делами дворян, его приютивших [4, с. 130], причем во втором письме утверждает, что писано оно святыми Николаем Чудотворцем, Михаилом Архангелом и царевичем Дмитрием (один из ярких примеров проявления того самого «мифологического сознания» [4, с. 132].

О том, что эта история не может быть отнесена всего лишь к заурядному мошенничеству, говорит и та реакция, которую она вызвала среди местных жителей. Многие псковичи и торопчане признали в Кобылкине царя, хоть он и назывался им в завуалированной форме. На виске один из принимавших у себя самозванца дворян, Кузьма Горяинов, например, показал, что «принял де он, Куземка, его, Тимошку, что он назывался капитаном Петром Алексеевым за государева имя чаял...» [4, с. 132]. Другой свидетель, Калина Брылкин, говорил: «В народе во Пскове и в Торопце велми тужили, чаяли то, что великий государь сам в тех местех бит»¹ [4, с. 134].

В возможности такого использования царского имени «всуе» был виноват сам Пётр, чье поведение

не соответствовало типичному чинному образу московского государя. Действительно, молодой царь мог оказаться без подобающего сопровождения и наряда далеко от столицы. К тому же он привык именовать себя некими «снижающими» именами, такими как Пётр Михайлов (под этим именем он, например, ездил в Великое посольство) или Пётр Алексеев. И если в данном случае имело место сознательное использование царского псевдонима (характерно, что Кобылкин все же не посмел назваться собственно царем Петром Алексеевичем, как бы не решаясь до конца покуситься на сакральный статус, хотя все участники происходящего поняли его «правильно»), то в других случаях такое нарушение традиций монархом приводило его подданных к явно невинным ошибкам, за которые они, тем не менее, вполне могли поплатиться.

В памяти из ратуши от 1701–1703 гг. сохранилось дело некоего Фильки Данилова, у которого бурмистрами при задержании по обвинению в краже были вынуты из кармана письма, и среди них челобитная от имени Петра Улитина, в которой имя государя было написано «неисто» – «милостивый государь Пётр Алексеев» [13, л. 34]. В ходе дознания Данилов повинился, что те письма писал сам «в малых летах», но копировал с других, хранившихся у его воспитателя Юрья Плотникова. Через некоторое время в Преображенский приказ явился «серпуховитин посацкий человек» Пётр Дмитриев сын Улитин и показал, что те письма «писал он Петр в малых летах, а сколько тому лет того сказал неупомнит как учился грамоте, а что в той челобитной государево имя написал он неисто» [13, л. 75]. За это Ф. Ю. Ромодановский велел Улитину бить плетьюми и освободить с распискою брата его родного Антона [13, л. 74]. Данилова и Дмитриева также велено бить кнутом за то, что первый писал воровские письма, а второй за то, что держал их у себя «многое время». И после того повелено те письма сжечь на спине у Данилова и сослать его в ссылку на вечное житье, а Юрья освободить [13, л. 74].

Можно привести еще один пример такой понятной путаницы, ярко иллюстрирующей конфликт семиотических кодов, характеризовавший Петровскую эпоху. В 1698 г. пушкарь Константин Корнилов доносил, что, когда он был у соседа своего Панкратьевской слободы тяглеца Левки Еремеева на крестинах, один из гостей, Степка Исаев, пьяный, выбранился матерно в то время, как пили

¹ Этот случай не был единственным в своем роде. В росписи колодникам, содержавшимся в Преображенском приказе в 1722 г., упоминается башкирец Балеи Карманов, который «имал с татар взятки» в Уфимском уезде и «назывался царем» [12, л. 11]. К сожалению, из-за ветхости дела ознакомиться с подробностями нет возможности.

за здоровье государя, а к чему он это говорил, Костка не ведает [14, л. 2]. Однако по розыску выяснилось, как сказал свидетель Мишка Тимофеев, что Корнилов провозгласил тост «дай де Боже здорову быти нашему шипору» (видимо, шкиперу), на что Степка выругался: «...шишь пое... х... серебряной» [14, л. 4]. А кто есть этот шипор, Мишка не знает. Костка за те слова дважды ударил Исаева рукой в голову [14, л. 4]. Сам Костка признал, что тоже был пьян, потому такой тост говорил, а что за «шипор», и сам не знает. Помнит только, как Степка матерился и как он его ударил [14, л. 5].

Степка показал, что помнит, как пили за государево здоровье, а потом Костка сказал тост за шипора, и он, Степка, заявил, что «я де шипора не знаю, а пью про государское здоровье» [14, л. 6]. А Костка сказал: «...для чего ты Степка за шипорово здоровье не пьешь» и ударил его в голову два раза. При этом Степка отказывался от матерных слов, утверждая, что Костка и Мишка его «поклепали» [14, л. 6]. Под нажимом свидетельских показаний Степка повинился и сказал, что говорил то «спьяна а для чего говорил про то неупомнит», а запирался раньше «забвением» [14, л. 8]. Оба – и Костка, и Степка – за непристойные слова наказаны (как, не написано) и освобождены [14, л. 9]. Судя по мягкости наказания, власти осознавали возможность такой путаницы, возникшей из-за резких изменений семиотического кода культуры и политического дискурса, а потому относились к этому снисходительно. Показательно, что сам автор тоста, рьяно защищавший честь царственного шкипера, в трезвом состоянии не мог понять смысл своего изречения.

Но одним из самых примечательных случаев «бытового самозванчества» Петровской эпохи, причем имевшим-таки некоторый «политический след», является история, начавшаяся, что интересно, задолго до поездки Петра за границу – в 1690 г. В Смоленске был схвачен вор рословец Терешка Прокофьев. Его привели в маетность к Денису Швыковскому в селе Прутки, того села поп Викула и смоленский шляхтич Андрей Глинка слышали от него непристойные слова: «...де я царь Петр Алексеевич» [15, л. 2]. Человек был послан в Смоленск для допроса.

На допросе он сказал «самые непристойные великие слова»: «...я де князь, что де болши ево на Москве нет а имянем де Пётр Алексеев сын» и что отец его царь Алексей Михайлович [15, л. 3]. С Москвы он пошел «тако розсматривать земли своей и хто де что про них говорит, а на Москве остался брат ево царь Иоанн Алексеевич» [15, л. 3]. Ушел он с Москвы в Великий пост с пятью товарищами, так шли до Можайска. Потом разошлись, и он пошел на Смоленск. По дороге он на-

зывал себя прохожим человеком, и только попу и Глинке впервые открылся [15, л. 3–4].

Самозванец был приведен к пытке и сознался, что он посадский человек Терешка Прокофьев сын из Ярославля, отец его Пронька Остафьев сын умер, мать его в Ярославле кормится своей работой. К Москве Терешка пошел с Рождества Христова и на Москве бродил «меж двор», а в Благовещенье пошел с Москвы, а таким великим именем назывался «вне ума своего» и в том винился [15, л. 6]. Далее с пыток винился, что таким именем ему велели называться его товарищи Карпушка Микулаев, сын Жуковский, да Ивашко Сергеев, сын Чигиринец – Федьки Шаковитого люди, да Андрюшка Васильев, сын Питиримов, и Сергушка Андреев, сын Булатов, – люди Василия Голицына. Они говорили, что у них с Москвы есть письма в Свейкую немецкую землю, в Черкасские города, в Литву и Цесарскую землю. А кто дал и зачем им туда ехать, они не сказывали. В Можайске же они разошлись, потому де, что Терешка глуп и приведет им беду, а то им из тех государств потом быть обратно к Москве. Вырисовывался явственный политический подтекст дела. Терешке дали несколько ударов кнутом, подвесили на дыбу, жгли огнем четыре раза, пытали клещами, на голову воду лили, но он больше ничего не рассказал [15, л. 7].

Терешку велено было скованным доставить в Москву. Воеводам Новгорода, Пскова, Киева и Севска, а также гетману велено было искать его товарищей (9). Однако в отпускных бумагах Холопьева и Стрелецкого приказа имен, названных Терешкой, не оказалось, да и в слободах, какие он указывал, по названным им приметам их также не знали [15, л. 9–10]. Из Москвы было велено допросить мать Терешки, Анютку Никитину, дабы вызнать, зачем он ушел к Москве, «в целом ли уме» или пьяница и «сумазброд» [15, л. 30]. Анютка на допросе показала, что Терешка ее сын, ему 26 лет, в Рославле он скитался промеж дворов, был записан в стрелецкую службу, но затем этой зимой ушел «неведому коды», числа она не упомнит, она тогда была больна. Где он теперь, есть ли за ним какое воровство (ей велено было не говорить о сути дела) и кто его товарищи, и в совершенном ли он уме, она не ведает. «А был он Терешка бражник и пропойца и ее мать де свою бивал» [15, л. 31–32]. В Рославле он был бит кнутом за воровство, к тому же он страдал падучей болезнью «и временем де он и в уме мешался» [15, л. 41–42].

Из Москвы велено было везти Терешку до Можайска и там до указа держать, причем кормить и следить, «чтобы он от голоду или каким орудием не учинил над собою смертного убойства до сыску». Однако вскоре стало известно, что во время

перевоза через Днепр в селе Пневе в мае Терешка скончался, где его и похоронили [15, л. 32].

Эта история, видимо, являлась отголоском, своеобразно преломленным нездоровым сознанием недавних событий 1689 г., приведших к свержению царевны Софьи и приходу к власти правительства Нарышкиных. Как известно, этот государственный переворот сопровождался казнью одного из фаворитов царевны – Фёдора Шакловитого и ссылкой другого – князя Василия Васильевича Голицына, объявленных главными врагами нового режима. Умоповреждение же довольно часто фигурировало в случаях «бытового самозванчества». Так, скорняк Устюжской полусотни Мишка Самсонов, сын Казанец, знавший самозванца Тимофея Кобылкина, показал, что в прошлом году тот «сходил с ума и был безумен многое время». Однако это не снижает показательности всех этих историй для иллюстрации умонастроений эпохи, так как больное сознание оперировало типическими для окружающей среды категориями и идеями.

В чем же все-таки причины столь массового распространения самозванчества в новый период российской истории? Развивая мысль Б. А. Успенского, П. В. Лукин связывает его с сакрализацией царской власти (примеры самозванцев великих князей нам неизвестны). Так как царский статус в восприятии простого россиянина XVII в. означал высший возможный на земле авторитет, уступающий лишь божьему, то отсюда и постоянная отсылка к нему в неких дискуссионных ситуациях [4, л. 140–141]. Однако нельзя забывать и тот факт, что зарождение и развитие самозванчества напрямую связано с событиями Смуты. Нас не должно сбивать хронологическое совпадение двух базовых оснований этого феномена: развития сакральных представлений о царской власти и династического кризиса рубежа XVI–XVII столетий. Один из них не должен заслонить другой.

Представляется, что между описанными случаями «бытового самозванчества» и хорошо известными примерами самозванчества социально-политического гораздо больше общего, чем может показаться при жестком разграничении известных фактов. Безусловно, эти явления – однокоренные. И связующим фактором для них является кризис восприятия монаршей власти. Бесспорно, влияние сакрализации царского статуса также сыграло свою роль, но это вовсе не противоречие. Здесь на ум приходит сравнение с божбой: высказывая оскорбительные по форме сакраментальные слова, христианин вовсе не становился безбожником, а лишь перемещался в пространство антимира.

Подтолкнуть нас к пониманию сути проблемы могут выкладки Д. С. Лихачёва. Он отмечал, что «бунташное» XVII столетие стало буквально временем торжества «кромешного» мира – мира, для которого характерна перевернутая знаковая система: «Голод и нагота в XVII в. стали реальными для многих, поэтому перевернутый мир стал реальным, а реальный мир благополучия производит впечатление нереального» [16, с. 388]. В такой социокультурной ситуации, сопровождающейся в том числе своего рода карнавализацией (в понимании М. М. Бахтина), именование простого человека царем было вполне оправданным, «нормальным»¹. Об этом свидетельствуют, пусть немногочисленные, но весьма показательные эпизоды так называемой игры в царя, участники которой, будь то крестьяне или князья, в рамках шутовского действия рядились царями и придворными.

Недаром Пётр I демонстрировал такое пренебрежение атрибутами старомосковской власти (сам будучи на протяжении всей жизни активнейшим участником перманентной «игры в царя», олицетворяемой фигурой князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского) – это, пожалуй, самый яркий признак обозначенного кризиса. И совершенно закономерным (как в плане личностном, так и в государственном) событием, а вовсе не некоей прихотью было принятие им нового, пусть не всеми и не сразу принятого, титула императора.

И нет никакого противоречия между утверждением о кризисе царской власти и ее известным усилением в течение XVII в. Если сакральный статус царской должностной харизмы сохранял свою значимость в глазах россиян того времени (что подтверждается и использованием царского титула в сакраментальных целях), то наследственная харизма новой династии Романовых фактически отсутствовала на тот момент и будет создана именно Петром I. Но очевидно, что и должностная харизма была в значительной мере снижена событиями Смуты, тем более что тяжелейшая социальная обстановка XVII столетия не давала возможности для скорого и полного ее восстановления (см. об этом подробнее: [17]). Все это (хотя, возможно, и не только это) и делало возможным всплеск и живучесть самозванчества, как политического, так и «бытового».

Из всего вышесказанного следует, что самозванчество являлось феноменом по своей сути амбивалентным, отражавшим как высший сакральный характер царской власти в глазах современников, так и размывание ее авторитета в результате политических и социокультурных особенностей развития России в конце XVI–XVII вв. Особенно-

¹ О самозванчестве как проявлении «перевернутого мира» пишет и П. В. Чистов, ссылаясь на английскую исследовательницу М. Перри [4, с. 110].

сти петровского царствования не только не сняли существующего противоречия, но значительно усугубили его, что также выразилось, с одной стороны, в смене титула правителя и, с другой – в появлении представлений о самозванности самого монарха. При такой трактовке имеющихся фактов

мы имеем возможность снять вопрос об отсутствии лжепетров, что придает феномену самозванчества более целостный и системный образ. Однако все вышеизложенное – лишь некоторые наброски к более комплексному и обстоятельному исследованию проблемы.

Список литературы и источников

1. Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967. 339 с.
2. Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Избр. тр.: в 3 т. Т. 1. М., 1996. С. 142–183.
3. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М., 1997. 559 с.
4. Лукин П. В. Народные представления о государственной власти в России XVII в. М., 2000. 292 с.
5. РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Ч. 4. Д. 1253.
6. Там же. Д. 1280.
7. Там же. Стб. 1061.
8. Там же. Стб. 1066.
9. Там же. Стб. 610.
10. Там же. Стб. 1098.
11. Там же. Д. 1271.
12. РГАДА. Ф. 371. Оп. 4. Ч. 2. Д. 1288.
13. РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Ч. 4. Стб. 1047.
14. Там же. Стб. 653.
15. РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Ед. хр. 4078 а.
16. Лихачёв Д. С. Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997. С. 342–403.
17. Мухин О. Н. Петр I – царь-харизматик: изменение сакрального образа правителя в России раннего Нового времени // Политическая культура в истории Германии и России. Кемерово, 2009. С. 373–385.

Мухин О. Н., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры.

Томский государственный педагогический университет.

Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.

E-mail: himan1@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 31.05.2010.

O. N. Mukhin

«I AM PETER ALEXEEVICH»: ON THE PROBLEM OF IMPOSTURE IN RUSSIA AT THE END OF 17TH – FIRST QUATER OF 18TH CENTURY

Some theoretical and practical aspects of imposture problem in Russia are discussed on the material of 17th – first quarter of 18th century. Among sources there are unpublished archival materials.

Key words: *imposture, czar power, charisma, crisis.*

Tomsk State Pedagogical University.

Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.

E-mail: himan1@rambler.ru